



В. Г. ГОЛИКОВ

Космический вихрь

«Петербург», роман в восьми главах с прологом
и эпилогом Андрея Белого, 1916

Один из его литературных друзей назвал
его космическим вихрем.

*Из газетной статьи*¹

Смутное и отчасти странное впечатление оставляет в общем роман Андрея Белого, которому (и роману и автору) суждено, кажется, стать знаменитым, благодаря умеренным и неумеренным восхвалениям критиков и рецензентов, своих и чужих автору (причем и свои и чужие могут быть только условными масками, и понимать их надо не по их внешности). В очень своеобразном, размашистом и неуравновешенном стиле написан этот знаменитый (в русском языке нет герундива, а потому употребляю положительную, а не предположительную форму выражения) роман... Сухой, чинный и чиновный, на все пуговицы застегнутый, *прямолинейный* Петербург (намеренно говорю Петербург, а не Петроград) назовет его, пожалуй, московскоисторическим и даже московско-растрепанным (подобно тому, как о московских барынях говорят, что они — «в растрепанных чувствах»). Но в самой Москве этот стиль зовут, кажется, гениальным и даже космическим.

«Ваши превосходительства, высокородия, благородия, граждане!

.....

Петербург, или Санкт-Петербург, или Питер (что — то же) подлинно принадлежит Российской Империи. А Царьград, Константиноград (или, как говорят, Константинополь) принадлежит по праву наследия. И о нем распространяться не будем.

Распространимся более о Петербурге: есть — Петербург, или Санкт-Петербург, или Питер (что — то же). На основании тех же суждений Невский Проспект есть Петербургский Проспект».

.....

«Невский Проспект прямолинеен (говоря между нами), потому что он европейский проспект: всякий же европейский проспект есть не просто проспект, а (как я уже сказал) проспект европейский, потому что... да...

Потому-то Невский Проспект — прямолинейный проспект.

Невский Проспект — немаловажный проспект в сем не русском — столичном — граде. Прочие русские города представляют собою деревянную кучу домишек.

И разительно от них всех отличается Петербург.

Если же вы продолжаете утверждать нелепейшую легенду — существование полуторамиллионного московского населения, — то придется сознаться, что столицей будет Москва, ибо только в столицах бывает полуторамиллионное население; а в городах же губернских никакого полуторамиллионного населения нет, не бывало, не будет. И согласно нелепой легенде окажется, что столица не Петербург.

Если же Петербург не столица, то — нет Петербурга. Это только кажется, что он существует».

Это — из Пролога. «Домашний старый спор, уж взвешенный судьбою»², — спор рыхлой и обиженной Москвы с застегнутым на все пуговицы, впрочем нервически раздраженным Петербургом — о первенстве в умах и сердцах российских граждан. Т. е. собственно спорит-то давно уже лишь Москва, а Петербург, хоть и брюзжит геморридално, но уже не спорит. Первенство и *de facto* и *de jure* (и на деле и по закону) давно закреплено за ним циркуляром, Москве же представлено одно голое право (*jus nudum*) — ссылаться на свое первородство и сколько угодно кичиться своим первородством, которого за чечевичную похлебку она, конечно, не отдаст.

И вот она временами возобновляет свой домашний спор — спор на началах местничества³. Но местничество давно упразднено (еще при царе Федоре Алексеевиче). А Петербург твердо укрепился на первом месте — на началах табели о рангах. Волей-неволей местничество склонилось (и *de facto* и *de jure* — на деле и по циркуляру) перед табелью о рангах, как, по великолепным словам одного *петербургского* (и в то же время всероссийского) поэта —

Перед младшею столицей
 Главой склонилась Москва,
 Как перед новою царицей
 Порфироносная вдова⁴.

Склониться-то склонилась, но, видно, досада и горечь и поныне еще кипит в ее сердце — и визгливый домашний спор возобновляется временами. И грозят московские горы и пригорки петербургской болотной равнине, московские горбатые улицы и кривые

переулки — петербургским прямолинейным проспектам, и дышит Москва жаркой потной испариной в мокрый и холодный петербургский туман.

Андрей Белый хочет своим романом (точнее, своей трилогией романов, в ней же «Серебряный голубь» — первая часть, а «Петербург» — вторая) поставить этот спор на принципиальную высоту. Больше и выше — гениальнее!.. Он, кого его литературные, слишком литературные, друзья называют «космическим вихрем», дерзает вознести домашний спор на высоту космическую, стихийно-мировую. И вот откуда его то патетически-вихревой, то феллетонно-иронический стиль, гениальный и космический, по мнению Москвы, а по мнению чиновного и чиновного, на все пуговицы застегнутого, прямолинейного Петербурга, — истерический и растрепанный.

Космический вихрь проносится своим гениально-истерическим стилем через несколько знаменитых октябрьских дней 1905 г., проносится, впрочем, лишь по верхушкам некоторых событий этих вечно памятных дней, не задевая ничуть самой сущности, «души», ни этих событий, ни деятелей этого времени (этих последних, можно сказать, даже совсем оставляет в стороне), носится по некоторым улицам и закоулкам Петербурга, отчасти и по Невскому проспекту (которого, однако, как будто бы даже избегает), в особенности гулко мчится вдоль Невы, по набережной, от Николаевского моста до Летнего сада, — всего же более носится в залах одного пышного сенаторского дома на Английской набережной и в комнатках одной скромной квартирке на Мойке, с обстановкой в японском стиле — и здесь-то, в этом доме и в этой квартирке, — самый центр космического романа, основная фабула и интрига, завязка и развязка, и главные персонажи его, «герои» — отец (сенатор) и сын (студент) Аблеуховы.

Правда, есть и еще как бы центр кружений космического вихря, как раз на периферии его первого круга... разве в эксцентрических кругах не может быть двух, трех, и более центров?.. Этот второй центр — 18-я линия Васильевского острова, где на своем чердачке кошмарно мучится некто Александр Иванович, «незнакомец с черными усиками», «островитянин», будто бы один из главных деятелей революции, Неуловимый (для полиции, разумеется). И еще один центр: дачка у взморья (где-нибудь в Финляндии), откуда плетет свои провокаторские паучьи нити — тоже очень видная в революции *особа* — «хохол-малоросс» (на деле, кажется, еврей) Липпанченко (вроде как бы Азеф)⁵.

Но эти вторые центры, на периферии важнейшего круга, — они, так сказать, лишь умпостигаемые центры. Они воздействуют (и очень энергично) на ход повествования, они даже главная пружина его, но существуют все-таки — в плане романа — не са-

ми по себе, не сами для себя, а лишь по отношению к главным его героям — Аблоуховым, отцу и сыну.

В сущности, космический вихрь хотя словесно носится очень высоко и гениально, но пространственно — в очень узком круге: для космического вихря Петербург — это набережная вдоль Невы, от Николаевского моста до Летнего сада, часть Невского проспекта, уголок Мойки, некое *Учреждение*, всей России известное, с кариатидою у подъезда, неподалеку от памятника Николаю I, какой-то ресторанчик тут же где-то поблизости, да острова за Невой в тумане, где обитают эти странные «незнакомцы с черными усиками» — «островитяне».

«Жители островов поражают вас какими-то воровскими ухватками; лица их зеленей и бледней всех земнородных существ; в скважину двери проникнет островитянин — какой-нибудь разночинец: может быть, с усиками; и того гляди выпросит — на вооружение фабрично-заводских рабочих; заговорит, зашепчется, захихикает: вы дадите; и потом не будете вы больше спать по ночам; заговорит, зашепчется, захихикает ваша комната: это он, житель острова — незнакомец с черными усиками, неуловимый, невидимый, его — нет как нет; он уж — в губернии; и глядишь — заговорят, зашепчутся там, в пространстве, уездные дали; загремит, заговорит в уездной дали там — Россия».

.....

«От себя же мы скажем: о, русские люди, русские люди! Вы толпы скользящих теней с островов к себе не пускайте! Бойтесь островитян!»

И сам автор, видимо, боится островитян — и так и изображает их — как кошмарный туман какой-то, как сумасшедший бред.

Петербург же для него, самая «душа» Петербурга, здесь — во круг Медного всадника, вблизи сенаторского дома на Английской набережной, неподалеку от всей России известного Учреждения, да еще разве в подозрительном этом ресторанчике, где ночные сборища и кошмарные беседы, в стиле Порфирия Петровича и Раскольниковова, откровенных провокаторов и бьющихся в их сетях «неуловимых» незнакомцев с усиками и Аблоуховых-сыновей.

Конечно, Медный всадник — и другой еще Всадник, за Исаакием... это — нечто! И все же затискивать душу Петербурга между только двумя этими памятниками — не слишком ли это славянофильски?.. Кто бы мог доподлинно, всесторонне-правдиво, поистине художественно-гениально изобразить и осветить «душу» Петербурга, тот не ограничился бы, конечно, этим общим *казенным* (в отношении творческой мечты, творческих возможностей) местом. Почему, в самом деле, сковывать поэтическое воображение

одним этим условным, — правда, великим и великолепным, но не всеисчерпывающим, — образом, Медным всадником, и его непосредственными, чугунными (или из иного металла) следствиями? Достоевский, например, более потрясающую петербургскую трагедию и более подлинную петербургскую душу нашел и в каком-нибудь Спасском переулке, вблизи этого ультрапрозаического Сенного рынка.

Правда, то был Достоевский — большой, даже грандиозный Достоевский... А маленькие, даже микроскопические Достоевские — такая их участь — вязнут у подножия Медного всадника, куда навсегда приковал их великий гений Пушкина, и ни шагу далее... кроме как в провокаторские ресторанчики да еще в скромные квартирки японских куколок с деревянными (из кипарисового дерева) мужьями-провиантмейстерами на Мойке, которые (квартирки, куколки и провиантмейстеры) для Петербурга столько же характерны, как и для Ташкента, например, или даже для самой Москвы... Во всяком случае, они — не «душа» Петербурга.

Вообще, в романе Андрея Белого хотя и много психологии, но «душ» нет. Чувствуешь себя, как в театре марионеток... Деревянный манекен — сенатор, картонный паяц — сын его, японская куколка — Софья Петровна Лихутина, китайский болванчик — муж ее, Сергей Сергеич, офицер. Или же — китайские тени: Александр Иваныч, «островитянин», «незнакомец с черными усиками», он же Неуловимый, провокатор «хохол-малоросс» Липпанченко (он же Липенский), начальник отделения провокаторов (или как его там?) Морковин, он же — писец участка Воронков, кто-то, так до конца и оставшийся неизвестным, Печальный и Длинный, который шепчет таинственно: «вы все отрекаетесь от меня... я за всеми вами жожу... а потом призываете»... — еще далее, загадочный младоперс Шишнарфнэ (он же, в кошмаре Неуловимого — Энфраншиш).

Психология же всех этих теней — какая-то пространственная и едва ли не четвертого измерения, — не психологическая, так сказать, психология, а математическая, умопостигаемая, головная. Я не говорю, что это — не интересно. Напротив, все это — ново и интересно, но как-то бездушно. Да и психология ли это? не словесная ли алгебра? не символический ли абстрактный бред? а в слабейших местах — не простой ли набор слов, имеющих лишь внешнюю логическую сцепляемость? Психология — палка о двух концах, и даже многоугольник, но нет ничего произвольнее, как эта психология, основанная на абстрактной словесной вязи или на логических схемах.

Канва романа в том, что очень легкомысленный, чтобы не сказать идиотический, и развинченный молодой человек, «отъявленный негодяй», как мысленно его определяет сам отец его, сенатор

Аблеухов, глава известного всей России Учреждения, кандидат на самый ответственный министерский пост (то ли Столыпин, то ли Победоносцев), — дает, потеряв голову от неудачной любовной истории, обещание какой-то партии, где он, этот идиот, состоит теоретиком самых крайних, самых разрушительных тенденций, — убить, по поручению партии, своего отца («отъявленного подлеца», как мысленно его определяет сам его сын). Не партия, а провокатор Липпанченко через Неуловимого передает ему бомбу с заводным часовым механизмом и через некоторое время будто бы приглашение партии исполнить в назначенный срок им же самим сделанное террористическое предложение отцеубийства.

Отсюда — кошмарные переживания пришедшего в себя юноши, его попытки ускользнуть от ужасного деяния, роковые случайности и неудачи, делающие неизбежным его выполнение, и, наконец, взрыв бомбы — по счастливому случаю, некровопролитный. Этому предшествует любовная история Николая Аблеухова с Софьей Петровной Лихутиной, едва ли не лучшая часть романа в художественном отношении, хотя и самая скромная по идейному размаху, вовсе не космическая.

Эпизодически изображаются кошмарные мучения, бред и сумасшествие Неуловимого, несчастного, какого-то даже идиотического, юноши-революционера, затравленного своей революционной ролью будто бы до того, что душа его совершенно опустошена, с нее свалились все партийные предрассудки, все категории, кроме одной: *категории льда* («льды Якутской губернии; их я ищу в своем сердце; они меня отделяют от всех... даже когда я на людях, я закинут в неизмеримость»), — помешательство и неудачное покушение на самоубийство мужа Лихутиной, офицера. Эпизодически мелькает — до кошмарно-трагического своего конца, насильственной смерти от руки сошедшего с ума Неуловимого, фигура провокатора Липпанченко.

Этот провокатор на всем протяжении романа, до самого кануна жалкой его смерти, представлен отталкивающим и пошлейшим обывателем (одна из последних посвященных ему сцен так и озаглавлена — «Обыватель»), так что диву даешься, как это подобная невозможная, неприемлемая личность могла быть таким непрерываемым «ловцом» этих «неуловимых», которые, правда, чувствовали к этой *особе* тайное отвращение, но все не в состоянии были раскусить ее. Роман с такой широкой темой, как «Петербург», — разумеется, в его душе, в самой его сущности, — и притом в такой исключительный момент его исторической жизни, как движение тысяча девятьсот пятого года (затронутое, впрочем, в романе одними поверхностными намеками, смутными мельканиями и подозрительными фигурами), такой роман должен, конечно, претендовать на самые широкие обобщения и последние глубины.

Но если Медный всадник и всей России известное Учреждение, с манекено-сенатором Аблеуховым, — «душа» Петербурга (для автора), то, разумеется, для него «душа» великого исторического движения 1905 г. — злодей и мошенник Липпанченко и судьбой и людьми обиженный неврастеник, полупомешанный, а потом и совершенно сумасшедший — Александр Иваныч, будто бы один из самых знаменитых партийных деятелей, но, как неосмысленный младенец, загнанный махинациями провокатора и своей расхлябанностью на одуряющий чердак, в жалкое прозябание нищего, в кошмарное отшельничество, наконец в идиотизм и в сумасшествие. Если это — обобщение, а в романе такого размаха, как «Петербург», это иначе быть не может, то эти две фигуры — звончайшая, оскорбительнейшая пощечина нашим революционным партиям, да, пожалуй, и всему освободительному движению 1905 г. (есть, кстати, в романе и очень сатирический, схваченный в самых комических его чертах «митинг»).

Вообще же необходимо подчеркнуть, что есть в романе многое такое, что ближайшим образом роднит его с пресловутыми «Вехами»⁶. Все антиреволюционные, антиинтеллигентские тенденции «Вех» нашли здесь для себя достойное — полухудожественное, полусумбурное — выражение.

II

Я не говорю, что нет в романе достоинств. Напротив, — их много. Местами роман — превосходен. Но, прежде всего, зачем он так неестественно напряжен и так неэкономно растянут? Кажется иногда, что автор весь напрягается в усилиях и своим напряжением утомляет читателя, — в усилиях сказать что-то невыразимое, объять необъятное. И вот он говорит, говорит, наконец даже кричит криком неестественным и просто ошарашивает читателя, заverteв его в свой если и не космический, то словесный вихрь.

Впрочем, хотя и очень многословно, необузданно-многословно, и с уродливыми потугами и судорогами, — роман написан все-таки с несомненным художественным подъемом.

Аполлон Аполлонович Аблеухов, сенатор, глава Учреждения, — фигура, всего более удавшаяся автору, она же и центральная фигура романа. Имел ли право сказать автор читателю (и за ним покорно повторить его слова — один из восхищенных романом критиков): «будет, будет престарелый сенатор гнаться за тобою, читатель, в своей черной карете: и его отныне ты не забудешь вовек!» — это еще вопрос, но, конечно, решение его — очень субъективное. Лично для меня, например, образ Аблеухова заслоняется образом Каренина (из «Анны Карениной»), лицом более

конкретным, художественно-иллюзорным, со всех сторон исчерпанным и в памяти живущим, как живой человек, а не как абстракция. И он, этот образ толстовского романа, не остался, конечно, без некоторого влияния на фигуру Аблеухова в романе Андрея Белого.

Сам же этот — все-таки в пределах возможного для автора очень разработанный — образ сенатора слишком механичен и схематичен, не настолько жизненно-ярок и рельефен, чтобы с всецелой устойчивостью закрепиться в памяти читателя и жить там с большей определенностью и ясностью, чем на это может претендовать художественно концептированная абстракция. К тому же Андрей Белый в конце романа испортил эту свою фигуру, — испортил ее именно тем, чем, казалось бы, должен был исправить ее угловатость и схематичность: он вдруг сентиментально расчувствовался над ней и жесткую суховатость ее очертаний попытался смягчить своей и читательской, и ее собственной, слезоточивостью. Но этим он только исказил и умно-жестокий тон своего романа и, не придав большей жизненности своей схематической фигуре, исказил и ее: была она прежде манекен деревянный и жесткий, а теперь вдруг оказалась — из мокрого папье-маше.

Подобная же неприятность — еще ранее — случилась и с другой манекенной (из кипарисового дерева) фигурой романа — Сергеем Сергеевичем Лихутиным — после неудачного его покушения на самоубийство, когда он, крепкая доселе деревянная фигурка, вдруг размягчился в папье-маше и чувствительно-нежно склонился к ногам легкомысленной своей супруги, японской куколки, которую он только что, с деревянной решимостью своего офицерского честного слова, вовек нерушимого, по уверениям автора, ожесточенно отверг. Право, от иных авторов, вроде Андрея Белого, желаешь и ждешь до конца неумолимой деревянности и схематичности их манекенов: это — более в плане их повествования и в стиле их дарования, художественно-геометрического, так сказать, — и неприятно бываешь поражен, когда они, с какими-нибудь неожиданными авторскими намерениями, нарушают этот план и выходят из своего стиля.

В душе читателя, вошедшего во вкус их художественно-геометрического стиля, остается неприятный осадок неудовлетворенности... Не то, не то! Автор только надломил свою игрушку, пытаясь вдохнуть в нее подобие жизни. Пигмалион не одухотворил свою Галатею, а только своим слезотечением размягчил и раскрошил ее мраморность. Отваливаются кусочки — и видишь, что она — из глины.

О, «трогательное», «потрясающее» и «благородно-поучительное» — сколько напрасных жертв вам приносится даже жрецами иных алтарей!.. Высоконравственные и эффектно-патетические

сценки супружного и отчего умиления и примирения, как сцена Лихутина с женой после неудачного покушения, как вообще последние страницы романа — сближение сенатора с женой, бежавшей с любовником-итальянцем и вернувшейся через несколько лет к мужу, и с сыном, доселе ему холодно-чуждым и даже, как мы знаем, покушавшимся на отцеубийство, — какую странную тень набрасывают эти умиленно-расслабленные сценки на казавшегося ледяно-бесстрастным в своем марионеточном театре автора! Вы смущены. Вы думали до сих пор, что имеете дело с символистом Андреем Белым, ироническим и жестоким, как Достоевский, а оказалось, что это — кисло-сладкий Диккенс, — добродетельно-сантиментальный, благонамеренно-моральный.

И даже не только как Диккенс — раскаянием блудного сына, примирением мужа и жены, слезами очей растроганного отца и общим просветлением, не как Диккенс, а почти как наш простовато-добродушный Загоскин оканчивает Андрей Белый свой страшный роман: умилительной семейной сценой на лоне природы (см. эпилог, например, загоскинского «Кузьмы Мирошева») ⁷. Все говорило за то, что странная история кончится размягчением мозга — не автора и читателей, а главных героев романа, Аблеуховых, отца и сына, но кончилось все размягчением сердец и главных героев, и автора, и читателей. Ах, жестокий и иронический символист — какой он милый и покладистый оборотень!

Не надо, впрочем, забывать, что этот полусимволист, полуморалист пронизан насквозь идеями Владимира Соловьева (о Востоке и Западе, о желтой опасности, о национальной религиозной миссии и будущности России и т. п.) и, может быть, хотел в своем романе — не в философских формулах, а в творческих образах — создать новое «Оправдание Добра» ⁸. И вот почему все кошмарные ужасы космического романа и сатанински-сардонические усмешки автора привели нас в конце концов к умилительной идиллии в семействе Аблеуховых, — которые происходят из стародворянского все-таки рода, хоть и от предка крещеного татарина, а не какие-нибудь безродные «островитяне», незнакомцы с усиками, происхождение которых так же неуловимо, как и сами они — «неуловимые»... разве что не был ли их предком, прародителем — Летучий Голландец, о котором так поэтически и так двусмысленно говорит автор:

«— на теневых своих парусах полетел к Петербургу Летучий Голландец из свинцовых пространств балтийских и немецких морей, чтобы здесь воздвигнуть обманом свои туманные земли и назвать островами волну набегающих облаков; адские огоньки кабачков двухсотлетие зажигал отсюда Голландец, а народ православный валил и валил в эти адские кабачки, разнося гнилую заразу... С призраком долгие годы здесь бражничал православный

народ: род ублюдочный пошел с островов — ни люди, ни тени, — оседая на грани двух друг другу чуждых миров».

Так вот эти-то ублюдки Летучего Голландца, «островитяне», и были, по мнению автора «Петербурга», знаменитые партийные деятели нашей революции — и нет им спасения! Пусть мучатся в кошмарах энфраншишей и коченеют в категориях якутского льда, пусть сходят с ума и сумасшедшими убийцами кончают свою жалкую жизнь ублюдков. Их лучше и роднее для автора «Петербурга» вырожденцы стародворянского рода от предка крещеного татарина — Аблеуховы: им прощение, спасение и просветление: они в Египте, они в Алжире, они в родовом своем поместье, — нежные, внимательные, чуткие — с милым отцом, пишущим остроумнейшие мемуары — их знает вся Россия! — благодушествуют, благоденствуют и созидают ученейшие труды, которые тоже, должно быть, будет знать вся Россия — «О письме Дауфсехруты»!.. А потом — по смерти нежно любимых отца и матери будут посещать церковь и читать философа Сквороду — благороднейшего мыслителя.

И еще раз не мешает вспомнить, что Андрей Белый — москвич, или москвитянин (что — то же), как и многопочтенный и незабвенный Загоскин. А москвичи — в их космической и мистической, метафизической, что ли, сущности — все на одну стать, — будут ли они модернистами и символистами нашей эпохи или славянофилами 30—40 гг. И недаром автор исполняется порою пророческого пафоса и вещает сибиллины словеса, как мог бы вещать истинный, в космической и метафизической своей сущности, «москвитянин», напитанный, впрочем, соответственно духу нового времени, более Владимиром Соловьевым, чем Загоскиным или Погодиным:

«С той чреватой поры, как примчался к невскому берегу металлический Всадник, с той чреватой днями поры, как он бросил коня на финляндский серый гранит — надвое разделилась Россия; надвое разделились и самые судьбы отечества; надвое разделилась, страдая и плача, до последнего часа Россия!

Ты, Россия, как конь! В темноту, в пустоту занеслись два передних копыта; и крепко внедрились в гранитную почву — два задних.

Хочешь ли и ты отделиться от тебя держащего камня, как отделились от почвы иные из твоих безумных сынов, — хочешь ли и ты отделиться от тебя держащего камня, и повиснуть в воздухе без узды, чтобы низринуться после в водные хаосы? Или, может быть, хочешь ты броситься, разрывая туманы, чрез воздух, чтобы вместе с твоими сынами пропасть в облаках? Или, встав на дыбы, ты на долгие годы, Россия, задумалась перед грозной судьбою, сюда тебя бросившей, — среди этого мрачного севера, где и самый

закат многочасен, где самое время попеременно кидается то в морозную ночь, то — в дневное сияние? Или ты, испугавшись прыжка, вновь опустишь копыта, чтобы, фыркая, понести Всадника в глубину равнинных пространств из обманчивых стран?

Да не будет!

Раз взлетев на дыбы и глазами меряя воздух, медный конь копыт не опустит; прыжок над историей — будет; великое будет волнение; рассечется земля; самые горы обрушатся от великого *труса*; а родные равнины от *труса* изойдут повсюду горбом. На горбах окажется Нижний, Владимир и Углич.

Петербург же опустится.

Бросаясь с мест своих в эти дни все народы земные; брань великая будет, — брань небывалая в мире: желтые полчища азиатов, тронувшись с насиженных мест, обогрят поля европейские океанами крови; будет, будет — Цусима! Будет — новая Калка!..

Куликово Поле, я жду тебя!

Воссияет в тот день и последнее Солнце над моею родною землей. Если, Солнце, ты не взойдешь, то, о, Солнце, под монгольской тяжелой пятой опустятся европейские берега, а над этими берегами закурчавится пена; земнородные существа вновь опустятся к дну океанов — в прародимые, в давно забытые хаосы...

Встань, о, Солнце!»

Так-то пророчествует космический вихрь московского символизма. Но пророчествует он — сивиллиными устами — не сам от себя, а от некоего *духа* — от Владимира Соловьева. Я не мастер разбираться в сивиллиных пророчествах, но, кажется, это надо понимать так, что если Петербург не опустится (перед Нижним, Владимиром и Угличем), то под монгольской тяжелой пятой опустятся европейские берега, а земнородные существа опустятся к дну океанов, в прародимые хаосы.

На этот раз наш космический и славянофильский вихрь пронесся через два, довольно больших, материка — Азии и Европы.

О, русские люди, о, русские люди (скажем же и мы от себя)! Бойтесь москвитян! Они устраивают вам космические сквозняки, и вы очень легко можете схватить — не какой-нибудь, а космический насморк.

Бойтесь москвитян! Они имеют право свободно носиться через пределы двух, довольно больших, материков — Азии и Европы.

Как бы то ни было (хоть я, островитянин, и не люблю сквозняков, особенно исходящих от москвитян и в особенности космических), — роман все-таки — очень интересен. В общем, он — пестр и шероховат, местами сумбурен и многословен, он в некоторых своих страницах — просто необработанный черновик, в некоторых — даже центральных, по отношению к основным идеям автора, сценах (таковы все — относящиеся собственно к движению

1905 г.), он дает только схемы для творческого заполнения, он, скажем, просто неряшлив, московски неряшлив местами, в нем — китайские тени и фантоши, в нем — умственность и подозрительная глубокомысленность, и сомнительная красивость подчас, но тем не менее в нем много и поражающей красоты, и вдохновенного творчества, и поэтического пафоса, который если и не взволнует слишком глубоко, то все же заденет хоть стороной и мимоходом, как задевает всякая талантливость и искренность.

К творчески прекрасным, без всяких космических вихрей и сивиллиных пророчеств, страницам отношу я все эпизоды *красного домино*. Аблоухов-сын, полутвергнувший Лихутиной (хотя ее и не перестает волновать его страсть) и оскорбленный гневным прозвищем — «красный шут!» — мстит ей, наряжаясь в красное домино и появляясь перед ней, в вечерней темноте, в подъезде ее дома, на набережной, у канавки, — пляшущим паяцем. Изображение японской куколки, Лихутиной, и всего домашнего ее обихода, с японской обстановкой, с ее гостями и молчаливым мужем, как и изображение обстановки и обихода аблоуховского сенаторского дома, показывает, что в этом поэте-символисте таится незаурядный художник-реалист. И даже (по некоторым внешним его приемам) реалист-новатор.

Быть может, самый существенный недостаток романа — в том, что он — только блестящая фантазмагория. Ни Петербург, ни движение тысяча девятьсот пятого года, ни душа людская, ни людская жизнь вообще не отразились в нем в своей простой и подлинной правде, в их настоящей глубине, а лишь поверхностно захвачены в художественную призму автора с их внешней физиономической стороны и, в довершение, еще особенным образом преломились в этой призме. Не один читатель, ожидающий объективной истины, полноты и ясности художественного впечатления, отойдет от романа, может быть и обольщенный цветным призматическим отражением развернутых перед ним картин, но неудовлетворенный и обманутый:

— Ослепительная сказка! Но — только сказка.

А сказка — ложь. И с внутренней своей стороны роман Андрея Белого есть кричащая ложь, блестящая, но искажающая перспективу — фантазмагория.

Почему искажена перспектива?.. Потому что нельзя вопроса о Петербурге отрывать от вопроса о русской интеллигенции и о рабочем пролетариате. И в особенности нельзя ставить этих вопросов так фантазмагорически, как их ставит автор «Петербургга». По его схеме, Россия — народ, Петербург — правительство (Учреждение) и оторвавшаяся от почвы, от народа — интеллигенция (островитяне). Но почему не изображена интеллигенция не в одних только ее подпольных, но во всех ее широких умственных течени-

ях?.. Петербург и интеллигенция — это не только Государственный Совет и Комитет Министров, не Английская набережная и Невский проспект, не будуар Лихутиной и салон Цукатовой, — Петербург, в его более широком и верном охвате, — и наши редакции и ученые кабинеты, и политические партии и литературные круги, и еще далее — широкие рабочие массы на окраинах. Для Петербурга, в его современности и в его будущности, не менее, чем медные и иные Всадники, находящиеся в его центре, существенны и фабрично-заводские здания, помещающиеся на его периферии. Петербург, конечно, и наша университетская молодежь, но не типичен для нее такой стародворянский вырощенец, как Николай Аблеухов; Петербург, если угодно, и наше подполье, но не мифический ублюдок-островитянин его представитель, а тем более не представители его — два провокатора, один грубый и материальный, как мерзавец Липпанченко, другой идеальный и метафизический (или символический, что ли), как маньяк Александр Иваныч, который сознается Николаю Аблеухову: «Да, да, да. Я — провокатор. Но все мое провокаторство во имя одной великой, куда-то тайно влекущей идеи; и не идеи, а — веянья», — причем веянье это оказывается — «общею жаждою смерти».

Не фантазмагория ли это? Не искажение ли всех перспектив?

Роман Белого не имеет права называться — «Петербург», а разве... «Трагедия Красного Шута», или — «История Дома Аблеуховых». Сузив или исказив (что — то же) перспективу, автор существенно понизил идейную и психологическую ценность своего произведения, которое могло бы стать, при большей вдумчивости и серьезности автора, крупным фактом нашей умственно-культурной жизни, а теперь представляет лишь факт относительного литературного значения. Если, как восторженно выразился один из критиков, «равного этому роману давно не появлялось в русской литературе»⁹, то лишь по его своеобразной (спорной, впрочем, и полной недостатков всякого рода) форме, а не по его идейной важности.

